

# РУССКИЙ ЛАД

Очерки Василия БЕЛОВА о народной эстетике

У Тютчева — знаменитейшие стихи. полные холодноватой космической нежности:

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора —  
Весь день стоит как бы  
хрустальный,  
И лучезарны вечера.

У Пушкина:  
Прозрачный лес один чернеет,  
И ель сквозь иней зеленеет,  
И речка подо льдом блестит.  
В русской поэзии, а стало быть, и в русском национальном сознании — влечение к просвечивающему, к тому, что просматривается насквозь. Окружающее, по уверению поэтов, прозрачно, и в чем-то одном прозревается, видится и другое: под инеем — зелень ели, подо льдом — блеск воды.

Прозрачному противопоставляется мутное. И у Пушкина:  
Мутно небо. Ночь мутна.

Стало быть, в одном случае: «Прозрачно небо». В другом: «Мутно небо». Прозрачно — хорошо. Мутно — худо, чревато бедой. И от непроницаемого, от мутного сознание наше снова спешит к прозрачному. Вступает Есенин:

В прозрачном холоде  
заголубли доли,  
Отчетлив стук подкованных  
копыт.

Есть прозрачность оптическая, но есть стремление и к высшей, к духовной прозрачности. И научиться смотреть на мир как на что-то прозрачное — одно из высших духовных благ. «Лад» Василия Белова — и свободное рассуждение, и этнографический труд, и очерки, и воспоминания о северной русской деревне. Об ее нравах, ее материальной культуре. О домашних животных. Это, впрочем, внешняя сторона. А внутренняя тема «Лада» задана поэтической традицией, и тема эта — про-зрач-ность. Прозрачность того, что люд честной окружало и окружает.

Очерки цикла «Лад» поучительно открытвенны. Но поучителен здесь прежде всего сам метод, сам подход к миру, запечатленному в цикле: описываются сельскохозяйственные работы, утварь описывается, изба, сеновал, но в русскую деревню входим мы как в какое-то капище. Все здесь священо: священ труд, потому что это не просто добывание у земли двух, трех, десяти пудов ржи, а диалог с ней, с землей; священо пребывание крестьянина в лесу, на реке, потому что это не просто порубка двух или пяти кубометров дров или отлов скольких-нибудь пудов, фунтов рыбы, а принятие от природы подарка, жертвы. Одухотворенность того, что замутненному взгляду видится исключительно прагматическим актом; духовная суть обыкновенных поступков — об этом пишет Белов.

Пишет и оглядывается настроенно: «Вероятно, кое-кто из историков упрекнет автора в так называемой идеализации прошлого. Сам термин, по-моему, неудачен. Не лучше ли говорить: приукрашивание?» В спокойный,

истовый тон рассуждений то и дело вторгаются противоречивые ему нервные полемические перебивы. А зачем они? И зачем, положим, отбиваться от еще невысказанных упреков в идеализации? Отождествлять ее с приукрашиванием? Идеализация — это же замечательно! И по крайней мере это естественно: не сохрани мы способности к идеализации кого-то, чего-то, мы давным-давно уже обратились бы в роботов, тупо выжимающих из природы тонны, центнеры и кубометры. А заслуга Белова как раз в том, что он идеализирует описываемое, напоминая людям об их праве, их обязанности идеализировать мир вообще: идеализация возникает там, где в окружающем видят нечто родное-е. Хорошие, дружные семьи хороши как раз оттого, что в них один идеализирует всех, а все — одного: сын — отца, оба они — мать отца, бабушку; муж жену идеализирует, а жена идеализирует мужа. И не бывает, наверное, матери, не идеализирующей своего сына, дочь. Мать твердо знает, что мальчик ее — лучший в мире. Ей могут показывать двойки по арифметике, жаловаться на хулиганские выходы сына, на его неопрятность. Мать будет преувеличенно бранить сына, грозиться. Но про себя-то она знает, что лучший в мире мальчик — это именно он. И вовсе не слепа любовь материнская: она прорзрлива, духовная «я» сына для нее совершенно прозрачно; и мать прозревает то, чего не могут прозреть другие.

Идеализация возникает там, где в отчужденном, в отдалившемся продолжают видеть родное: тогда и самый объективный анализ оказывается неуместен, бессмыслен. Василий Белов, конечно же, знает и рассказ Чехова «Новая дача», и повести «В овраге» и «Мужики». Он читал и Николая Успенского, и Кораленко, и Горького. О противоречиях в общественной жизни, в сознании русского крестьянина он, надо думать, осведомлен не хуже других. Было и социальное расслоение, и страшноватая фигура кулака, чудовища в чуйке, тупого, хитрого, глумящегося над односельчанами, знакома России. Погорельцы и нищие, бродившие по градам и весям... Холерные бунты... Пьянство... Чего только не было! Но было и что-то вечное, прошедшее через все социальные потрясения, выдержавшее все испытания, позволившее людям оставаться людьми и в нищете, и в бездомности. На поиски этой сокровеннейшей силы писатель нас и ведет.

А сила — в народной эстетике. В эстетической наполненности обыкновенного, в ритмах, в скрытой музыке трудового житья. «Ритм — основа не только труда. Он необходим человеку и во всей остальной деятельности. И не одному человеку, а всей его семье, всей деревне, всей волости и всему крестьянству... Сбивка с ритма — это болезнь, неустойчивость, разлад, беспорядок». Писатель нередко оказывается на пороге очень глубоких, интуитивно творимых открытий. Ритм, что мы знаем о нем? Кому ведома эстетика ритма? Социология рит-

ма? Их не создали еще, не осмыслили, но будут они. Откроется, как и почему меняются ритмы от индивидуального ритма, от походки, жестикуляции, склада речи одного человека до ритмов в поэзии и далее — до ритмов жизни нации, государства, общественного производства. Основа ритма сугубо материальна: она — в характере и производительности труда. Но сказать только это — еще ни-че-го не сказать. Есть ли производительность труда в духовной жизни? Чем она измеряется? Как изменяется? За десять лет Пушкин прошел путь от поэмы «Руслан и Людмила» до «Повестей... Белкина»: сюда уложились «Евгений Онегин». «Борис Годунов», «Полтава». «Граф Нулин». Не довольны ли разглагольствований о «бешеных ритмах» XX века, о «стремительных скоростях»? Оно верно, конечно: аэробус мчится по небу раз в 200 быстрее громающей по проселку кибитки, но является ли эта стремительность чем-то существенным? Нынче, в 1981 году, читаешь прозу 1971 года, и что же? Все так, как и ныне, и быть по-другому не может. Мы, значит, меняемся медленно-медленно; и мы в сравнении с Пушкиным и его современниками, за десять лет пережившими декабризм, социальные упования, взлеты надежд, разочарования, создавшими реализм, мы — провинциалы, живущие несменной патриархальной жизнью...

Вологодская деревня, описываемая Беловым, живет степенно, но живет она... быстро и как-то духовно организовано. Быстрота, организованность эта за счет интенсивного осмысления окружающего. За счет проникновения в невяную суть вещей. «Родной дом, а в доме очаг и красный угол были средоточием хозяйственной жизни, центром всего крестьянского мира». Белов как бы снимает прошлое киноаппаратом памяти, ускоренной съемкой: в проекции получается медленное рассматривание, разглядывание. Видишь «сперва избу, потом весь дом, потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние лесные покосы». Изба — «родное гнездо». В избе — колыбель: новорожденный, как бы птенчик, брат, братик всему, живущему на земле. Изба — и домашнее повторение храма с его алтарем (красный угол). Изба — корабль, закрепленный на суше. Изба — место последнего успокоения. Словом, изба — модель, первообраз всей жизни: рождение, произнесение первых слов, одаривание человека хлебом насущным, обработка льна, все — в избе, в благословенном центре крестьянской жизни.

Далее — приферия: поле, покосы, лес, лесной сеновал. Белов многого не договаривает. Тот же сеновал — не просто разумно слаженная хозяйственная постройка в лесу. Не дом, а почему-то именно приложение к дому, сарай, сеновал сплошь и рядом становились местом философского осмысления жизни, раздумий о ней. Сеновал немислим без раз-го-во-ра, без того чувства духовной свободы, высвобо-

денности разума, которую он дарует. Изба все-таки озабочена. Хлопотлива. Суетна даже. А сеновал беззаботен, и что-то освобождающее есть в составляющем его соединении старого дерева, сухой травы, воздуха, полумрака и приглушенной речи. И уж если идеализировать деревенскую жизнь, то идеализировать ее следовало бы безоглядно, в каждое явление стремясь проникнуть до дна его, до скрытой его души. Впрочем же, смысл очерков Белова в том прежде всего, чтобы дать нашей мысли толчок к проникновению в вещь. Чтобы мы смогли наконец разрешить, позволить себе читать жизнь, как читаешь книгу; рассматривать ее как вечно живую картину со своей композицией, сюжетом, ритмом, темой, идеей. И эту первоначальную задачу очерки выполняют, конечно.

Идеализация — это славно. Она рождает уверенность, сознание правоты: «Я прав!» Но идеализация — это и опасно к тому же. Легко прийти к самовлюбленному: «Прав только я!» Белов учит идеализации. Хорошо поступает. Но не срывается ли, противоречит своему же собственному степенному тону, на какие-то раздраженные, нервные интонации? Рассказывает, например, о северянах, ладивших таскал для русского флота, и раздраженно воскликнет, что об этом мало известно романтикам «алых парусов» и бесчисленных «бригантин». Рассуждает об естественном деревенском здоровье и — такой же раздраженный выпад против профессионального спорта, физических упражнений, ставшего повсеместным бега. Славит доброту, терпимость, взаимное понимание, и тут же — нетерпимость. Почто уж так-то?

Инженер, бухгалтер или тот же вологодский юноша, приехавший в город и ставший студентом, никоим образом не повинны в том, что они ни ржицы не сеют, ни лев трепать не горазды, ни вервие вить. Что живут они не в избах, а на предоставленной им горсоветом жилплощади. Что любят они и писателя Белова, и еще — о ужас! — писателя Грина. Что поют они «Бригантину» и смотрят футбол «Спартак» — «Реал», интересно. Ничего предосудительного в их образе жизни, смею думать, никак не содержится. И если хочешь, чтобы понимали тебя, пойми других. Не ломай ритма собственной плавно текущей мысли, не позволяй никакой мути застять очи твои: город, современный индустриальный город может открыться нам таким же прозрачным, как и мир старинной деревни. Впрочем, лучшим ответом была бы книга по эстетике современного города, а подобной книги пока что нет. Она будет, конечно; и начинается она именно в «Ладе» Белова: «Лад» еще и тем замечателен, что он требует продолжения, раздумывания, договаривания, преломления художественных принципов, заложенных в нем, и к другому жизненному материалу.

Книга Белова интригующе не окончена. Не может быть окончательным и суждение наше о ней. Но уже сейчас очевидно: «Лад» хочет от нас прозорливости, терпеливо ей учит. Вписываясь в исконные традиции русской поэзии, очерки Белова укрепляют веру в то, что мир, окружающий нас, прозрачен и что мы можем увидеть его таким.

Владимир ТУРБИН.